

КОЗЕТТА

Часть I

Фантина¹

КНИГА ЧЕТВЁРТАЯ

*Доверитъ другому
значит иногда бросить
на произвол судьбы*

Глава 1,

**В КОТОРОЙ ОДНА МАТЬ
ВСТРЕЧАЕТ ДРУГУЮ МАТЬ**

В первой четверти нашего столетия в Монфермейле, близ Парижа, стояла маленькая харчевня, ныне уже не существующая. Харчевню эту содержали люди по имени Тенардье, муж и жена. Она находилась в улочке Хлебопёков. Над дверью прямо к стене была прибита доска, а на доске было намалёвано что-то похожее на человека, который нёс на спине другого человека, причём на последнем красовались широкие золочёные генеральские эполеты с большими серебряными звёздами; красные пятна означали кровь; остальную часть картины заполнял дым, и,

¹ Перевод Д.Г Лившиц.

по-видимому, она изображала сражение. Внизу можно было разобрать следующую надпись: «Ватерлооский сержант».

Нет ничего обыденнее вида повозки или телеги, стоящей у дверей какого-нибудь трактира. И тем не менее колымага, или, вернее сказать, обломок колымаги, заграждавший улицу перед харчевней «Ватерлооский сержант», в один из весенних вечеров 1818 года, несомненно, привлек бы своей громадой внимание живописца, если бы ему случилось пройти мимо.

Это был передок роспусков, какие в лесных районах обычно служат для перевозки толстых досок и брёвен. Передок этот состоял из массивной железной оси с сердечником, на который надевалось тяжёлое дышло; ось поддерживали два огромных колеса. Всё вместе представляло собой нечто приземистое, давящее, бесформенное и напоминало лафет гигантской пушки. Дорожная грязь и глина облепили колёса, ободья, ступицы, ось и дышло толстым слоем замазки, напоминавшей ту отвратительную бурую охру, которой часто окрашивают соборы. Дерево пряталось под грязью, а железо — под ржавчиной. Под осью свисала полукругом

толстая цепь, достойная пленённого Голиафа. Эта цепь вызывала представление не о тех бревнах, которые ей полагалось поддерживать при перевозках, а о мастодонтах и мамонтах, для которых она вполне могла служить путами; что-то в ней напоминало каторгу, но каторгу циклопическую и сверхчеловеческую; казалось, она была снята с какого-то чудовища. Гомер сковал бы ею Полифема, а Шекспир — Калибана.

Для чего же эти роспуски стояли здесь, посреди дороги? Во-первых, для того чтобы загородить ее, а во-вторых — чтобы окончательно заржаветь. У ветхого социального строя имеется множество установлений, которые так же открыто располагаются на пути общества, не имея для этого никаких иных оснований.

Середина цепи спускалась почти до земли, и в этот вечер на ней, словно на верёвочных качелях, сидели, слившись в восхитительном объятии, две маленькие девочки; одной было года два с половиной, другой — года полтора, и старшая обнимала младшую. Искусно завязанный платок предохранял их от падения. Очевидно, какая-то мать увидела эту

страшную цепь и подумала: «Да ведь это отличная игрушка для моих малюток!»

Обе малютки, одетые довольно мило и даже изящно, излучали сияние; это были две розы, распутившиеся среди ржавого железа; глаза их светились восторгом, свежие щёчки смеялись. У одной девочки волосы были русые, а у другой — тёмные. Их наивные личики выражали восторженное изумление; цветущий кустарник, росший рядом, оведал прохожих своим благоуханием, и казалось, что оно исходит от малюток; полуторагодовалая с целомудренным бесстыдством младенчества показывала свой нежный голенький животик. Над этими нежными головками, осиянными счастьем и окропленными светом, высился гигантский передок телеги, весь почерневший от ржавчины, почти страшный, напоминавший своими резкими кривыми линиями и углами вход в какую-то пещеру. Сидя поблизости от них на крылечке харчевни, мать, женщина не слишком привлекательного вида, но в эту минуту вызывавшая чувство умиления, раскачивала детей с помощью длинной верёвки, привязанной к цепи, и, боясь, как бы они не упали, не сводила с них глаз, в которых

было животное и в то же время божественное выражение, свойственное материнству. При каждом взмахе звенья отвратительной цепи издавали пронзительный скрежет, похожий на гневный окрик; малютки были в восторге, заходящее солнце разделяло их радость, и ничто не могло быть очаровательнее этой игры случая, превратившей цепь титанов в качели для херувимов.

Мать раскачивала детей и фальшиво напевала модный в те времена романс:

— Так надо, — рыцарь говорил...

Поглощённая пением и созерцанием своих девочек, она не слышала и не видела того, что происходило на улице.

Между тем, когда она пела первый куплет романса, кто-то подошёл к ней, и вдруг, почти над самым ухом, она услышала слова:

— Какие у вас хорошенькие детки, сударыня.

— Прекрасной, нежной Иможине, —

ответила мать, продолжая свой романс, и обернулась.

Перед ней в двух шагах стояла женщина. У этой женщины тоже был маленький ребёнок; она держала его на руках.

Кроме того, она несла довольно большой и, видимо, очень тяжёлый дорожный мешок.

Её ребёнок был божественнейшим в мире созданием. Это была девочка двух-трех лет. Кокетливостью наряда она смело могла поспорить с двумя другими девочками; поверх чепчика, отделанного кружевцем, на ней была надета тонкая полотняная косыночка; кофточка была обшита лентой. Из-под завернувшейся юбочки виднелись пухленькие белые и крепкие ножки. Цвет лица у неё был чудесно розовый и здоровый. Щёчки хорошенькой малютки, словно яблочки, вызвали желание укусить их. О глазах девочки трудно было сказать что-либо, кроме того, что они были, очевидно, очень большие и осенялись великолепными ресницами. Она спала.

Она спала безмятежным, доверчивым сном, свойственным её возрасту. Материнские руки — воплощение нежности; детям хорошо спится на этих руках.

Что касается матери, то она казалась печальной. Её убогая одежда выдавала в ней

работницу, которая собирается снова стать крестьянкой. Она была молода. Красива ли? Возможно, но в таком наряде это было незаметно. Судя по выбившейся белокурой пряди, волосы у неё были очень густые, но они сурово прятались под монашеским чепцом, некрасивым, плотным, узким и завязанным под самым подбородком. Улыбка обнажает зубы, и вы любуетесь ими, если они красивы, но эта женщина не улыбалась. Глаза её, казалось, давно уже не просыхали от слез. Она была бледна; у неё был усталый и немного болезненный вид; она смотрела на дочь, заснувшую у неё на руках, тем особенным взглядом, какой бывает только у матери, выкормившей своего ребёнка грудью. Большой синий платок, вроде тех, какими утираются инвалиды, сложенный косынкою, неуклюже спускался ей на спину. Её загорелые руки были покрыты веснушками, и кожа на исколотом иглой указательном пальце сильно огрубела; на ней была коричневая грубой шерсти накидка, бумажное платье и тяжелые башмаки. Это была Фантина.

Это была Фантина. Почти неузнаваемая. И все же, приглядевшись к ней повнимательней, вы бы заметили, что она всё ещё

была красива. Грустная морщинка, в которой начинала сквозить ирония, появилась на её правой щеке. Что касается её наряда, её воздушного наряда из муслина и лент, казавшегося сотканным из веселья, безумства и музыки, — наряда, словно звучавшего трелью колокольчиков и распространявшего аромат сирени, то он исчез, как те блестящие звёздочки инея, которые на солнце можно принять за бриллианты; они тают, и обнажается чёрная ветка.

Десять месяцев прошло со дня «забавной шутки».

Что же произошло за эти десять месяцев? Об этом нетрудно догадаться.

Оказавшись покинутой, Фантина сразу узнала нужду. Она сейчас же потеряла из вида Фавуритку, Зефину и Далию. Узы, расторгнутые мужчинами, были разорваны и женщинами; две недели спустя эти юные особы очень удивились бы, если б кто-нибудь напомнил им о прежней дружбе: для неё уже не было больше никаких оснований. Фантина осталась одна. Когда отец её ребёнка уехал — увы, подобные разрывы всегда бесповоротны, — она оказалась совершенно одинокой, причём привычка её

к трудовой жизни ослабела, а склонность к развлечениям возросла. Связь с Толомьесом повлекла за собой пренебрежение к её скромному ремеслу, она забросила прежних своих заказчиков, и теперь их двери для неё закрылись. Никаких средств к существованию. Фантина едва умела читать и совсем не умела писать; в деревне её научили только подписывать своё имя; она обратилась к уличному писцу, который и написал по её поручению письмо к Толомьесу, затем второе, третье. Ни на одно из них Толомьес не ответил. Как-то раз Фантина услышала, как две кумушки, глядя на её ребенка, говорили: «Разве кто-нибудь принимает всерьёз таких детей? Пожимают плечами и только!» Тогда она подумала о Толомьесе, который пожимал плечами при мысли о своём ребёнке и не принимал всерьёз это невинное создание, и сердце ее ожесточилось против этого человека. Но что же ей предпринять? Несчастливая не знала, к кому обратиться. Она согрешила, это правда, но в глубине души, мы уже говорили об этом, она была целомудренной и чистой. Она смутно почувствовала, что близка к отчаянию и может соскользнуть в пропасть. Необходимо было мужество: она

вооружилась им и обрела силы. Ей пришла в голову мысль вернуться в свой родной город, в Монрейль-Приморский. Быть может, там найдётся кто-нибудь из знакомых и ей дадут работу. Да, но придется скрывать свой грех. И у неё возникло неясное предчувствие новой разлуки, ещё более тяжкой, чем первая. Сердце её сжалось, но она не отступила от своего решения. Фантина, как мы увидим дальше, обладала суровым бесстрашием пред невзгодами. Она мужественно отказалась от нарядов, начала носить простые холщовые платья, а все свои шелка, все свои уборы, все ленты и кружева употребила на дочь — единственный оставшийся у неё повод для тщеславия, на сей раз святого. Она продала всё, что имела, и получила за это двести франков; после уплаты разных мелких долгов у неё осталось очень мало — около восьмидесяти франков. Ей было двадцать два года, когда в прекрасное весеннее утро она покинула Париж, унося на руках своё дитя. Всякий, кто встретил бы на дороге эти два существа, проникся бы жалостью. У этой женщины не было в мире никого, кроме этого ребёнка, а у этого ребёнка не было в мире никого, кроме этой женщины.

Фантина сама кормила дочь; это надорвало ей грудь, и она немного покашливала.

Нам не придётся больше говорить о г-не Феликсе Толомьесе. Скажем только, что двадцать лет спустя, в царствование короля Луи-Филиппа, это был крупный провинциальный адвокат, влиятельный и богатый, благоразумный избиратель и весьма строгий присяжный; такой же любитель развлечений, как и прежде.

К концу дня Фантина, проделавшая для отдыха часть пути в так называемых «одноколках парижских окрестностей», которые брали от трёх до четырёх су за лье, очутилась в Монфермейле, на улице Хлебопёков.

Когда она проходила мимо харчевни Тенардье, две девочки, которые с восторгом раскачивались на своих чудовищных качелях, словно ослепили её, и она остановилась перед этим радостным видением.

Чары существуют. Эти две девочки очаровали эту мать.

Она смотрела на них глубоко взволнованная. Присутствие ангелов возвещает близостьрая. Она словно увидела над этой харчевней таинственное ЗДЕСЬ, начертанное провидением. Малютки, несомненно, были счаст-